Майор — профессор[1]

Утром плавучим мостом Главная Квартира перебралась на другой берег реки, где громоздились укрепления, готовые и недостроенные.

Государственного секретаря поместили в господском доме в двух верстах от резиденции Александра. Добравшись до постели, Шишков слёг, с ужасом думая о предстоящей скорой битве, в которой столь резво бегущая армия будет сломлена и снова примется убегать.

Тело немощно, в голове шумы, но куда денешься от самого себя! А что такое — сам — для русского человека? Россией себя разве царь один почитает, но ежели всё-таки почитает, то — возносится, даже при высшем своём титуле — противу совести, противу истины, гордыни ради.

---

[1] Продолжение. Начало в «Гостином Дворе» № 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55

Россия — Богова. А царь ли с царицею, крестьянин ли с крестьянкою, учёный муж семи пядей во лбу или младенец — все сыновья, все дочери, и едино — ответчики за Матушку свою.

Вот и ворочал мозгами Александр Семёнович, не давая голове покоя и всякою жилкой страдая за творящееся за стеною покуда ещё надёжного, хотя и чужого дома.

Не шли из головы Фуль с Ожаровским — весельчаки! Как не похохотать: Россия над бездной.

Мысли кидались к государю, к Барклаю, искали среди генералов Пожарского с Мининым, и сходилось к одному — безначалие губительно. Александр предводителем войск считает Барклая. На всё свершающееся смотрит как свидетель. Но роль-то свою его величество то и дело забывает. Назначил Паулуччи, отставив Лаврова, дня два тому назад спрашивал совета, кого поставить в генерал-квартирмейстеры. Мухин, стало быть, потерял доверие. О полковнике Толе спрашивал. Балашов не сдержался:

— Маркиз Паулуччи, может быть, и на своём месте, но дежурный генерал армии Кикин в таких отношениях с ним, что совершенно отстранился от дел. А Ставраков, его заместитель — презираем всеми прочими генералами, кроме одного Барклая. Что же до полковника Толя? Дарования оному от Бога превосходных степеней. Его ум быстрый, решительный, но вот беда — раб собственного мнения. Никаких здравых соображений Толь не примет, даже понимая, что его решение хуже некуда. Справедливости ради и того нельзя не сказать: трудолюбив, изобретателен, расторопен.

— Всё-то вы мне задачи задаёте! — вспылил на сию тираду Александр.

Никого не тронул пока. А ведь поправлять худые дела, меняя командиров — ничего не достигнешь, кроме конечного развала войск.

Выпроваживать надобно императора! Как можно скорее! Выпроваживать! В Москву, в Петербург… Балашов сие понимает.

Спас Александра Семёновича от беспросветных дум нежданный посетитель.

Пришлось подняться, облачиться в мундир, вот только нездоровья нельзя было скрыть.

Визитом почтил начальник походной типографии майор Андрей Кайсаров, профессор русской словесности Дерптского Университета, доктор, защитивший диссертацию в Геттингене.

— Я читал вашу книгу «Мифология славянская и российская»! — встретил учёного-майора адмирал, Государственный секретарь, пиит, член Российской академии. — Ваша книга, Кайсаров, тот же Дантов Виргилий, ибо защита богатств русского и славянского языков, стремление представить во всём великолепии народную фантазию и народные древнейшие верования — обществу,

почитающему за просвещение греческую и римскую мифологию — есть адов труд. Но будьте уверены — труд благодарный и даже бессмертный, покуда ходит под Богом наш русский народ по своей русской земле. Напомните ваше отчество.

— Андрей Сергеевич! — поклонился Кайсаров. — Если моя книга сколько-нибудь полезна, то что говорить о ваших сочинениях. «Те, которых слабый слух, приучась к иностранным языкам, не смеет возвышаться до согласного громозвучания старославянского языка...» Как сказано! Я и далее помню: «Мне кажется, буквы ч, ш, щ возвели славянскую азбуку и язык до такой силы и звучности, до которых все новейшие языки, не имеющие сих букв, тщетно покушаются вознестись». Само ваше слово, Александр Семёнович, — громокипящее, но я потревожил вас ради служебных дел.

— Мне доложили: вы директор типографии…

— Директор и редактор. Вместе с профессором Рамбахом мы прибыли из Риги с двумя типографскими станами. Рамбах — редактор немецких «Вестей», я — русских. С нами четверо наборщиков, четверо печатников. Разрешите представить вам листовку, адресованную итальянским солдатам. Мне важно ваше мнение, ваши замечания. — И виновато улыбнулся. — Александр Семёнович, я вижу, что пришёл не в лучший день и час…

— Прочитайте! Прочитайте!.. Слава Богу, не битва подняла меня... Отлежусь, ежели враг позволит... Листовка, говорите, к итальянским солдатам? Направление весьма перспективное: у Наполеона нет единой армии, а посему беды его впереди, и беды неминуемые.

— Текст написан мною. По-русски. У нас два переводчика, один знает немецкий, другой — итальянский и польский. Я прочитаю быстро.

— О нет! Читайте так, чтоб можно было объять фразу и подумать.

Кайсаров выглядел весьма юным господином. Бровки — как нарисованные. Очень маленький рот и большие глаза. Кроткие, печальные — уж никак не майорские.

— «Итальянские солдаты! — Кайсаров начал странную, замедленную декламацию. — Вас заставляют сражаться с нами. Вас заставляют думать, что русские не отдают должной справедливости вашему мужеству».

— Хорошо!

— «Нет, товарищи! Они ценят его, и вы в час битвы убедитесь в этом».

— Очень хорошо! Уважительно и в то же время совершенно просто. При великолепной величавости обещано сражение жестокое, достойное истории.

— «Вспомните, что вы находитесь за четыреста миль от своих подкреплений. Не обманывайте себя относительно первых

движений. Вы слишком хорошо знаете русских, чтобы предположить, что они бегут от вас!»

— Остановитесь, Кайсаров! Тут надо подумать. — Шишков разволновался, разрумянился. — Вы сумели предостеречь итальянских солдат и внушить мне, Государственному секретарю, что не всё так безнадёжно при сей полной безнадёжности. Вот что замечательно. Продолжайте! Продолжайте! Я буду молчать.

— «Они, — я говорю это о русских, Александр Семёнович, — они примут сражение, и ваше отступление будет затруднительно. Как добрые товарищи советуем вам возвратиться к себе. Не верьте уверениям тех, которые говорят вам, что вы сражаетесь во имя мира. Нет, вы сражаетесь во имя ненасытного честолюбия государя, не желающего мира».

— Это правильно, что вы не называете имя сего государя. Простите, не сдержался.

— «Иначе он давно заключил бы его. Он играет кровью своих храбрых солдат. Возвращайтесь к себе или, если предпочитаете это, найдите на время убежище в ваших южных провинциях».

— Вы закончили? — Адмирал сидел, склоня голову, словно ожидал-таки продолжения. — Солдаты, разумеется, не имеют выбора: бежать из России через Европу в Сицилию — далековато. И всё равно ход вашей мысли точный. Когда завоевателям станет тошно, всеми чувствами своими они пожелают быть у себя, подальше от русских. У вас пойдёт дело.

Прощаясь, смотрел на молодое лицо замечательного профессора до того огорчённо, что носом хлюпнул.

— Нам с вами бы о мифологии, о славянстве… Господи! Пошли перетерпеть войну, Наполеона, безумство человеческое.

— Благодарю вас! Благодарю за доброе слово ваше! — Профессор в эполетах поклонился не по-военному, прижимая руки к груди.

— Без доброго слова, Андрей Сергеевич, без доброго слова нынче русскому человеку невозможно, как солдату без ружья. — Шишков отвёл со лба седой вихор, отирая пот, и вдруг сощурил глаза: — Господин Жуковский ваш друг?

— Самый близкий. Жуковский, Мерзляков, Воейков, Андрей и Александр Тургеневы… Это — моя поэтическая юность.

Шишков кивнул. Седой, огромный, он стал похож на льва.

— Кайсаров, вы познали мифологию своего народа!.. — И улыбнулся: — Я не в обиде — за насмешки, за бунт молодости… Но попомните моё слово: путь, предлагаемый отечественной литературе Карамзиным, Жуковским, князем Шаликовым — одёжка с чужого плеча… Разве не урок всем падким на французское, причём без разбора, без малейшего самоуважения — нынешняя кровавая эпопея? А крови будет пролито много, русской

крови прежде всего. Ну, с Богом! С Богом! Не отвечайте, это не к чему. Однако ж запомните.

Кайсаров летел на крыльях от дремучего, но ведь замечательного старца. Сдал экзамен!

Дрисский лагерь

В эти утренние часы июня 26-го дня, никем не означенный, шёл ещё один экзамен. Нужно было найти ответ на единственный вопрос: быть ли живу России.

Дрисский лагерь, где поместились пока что кирасирская дивизия лейб-гвардии, Гаупт-Квартира командующего 1-ой Западной армии и ставка царя, объезжали шестеро всадников: император Александр, Начальник штаба маркиз Паулуччи, принц Пётр Ольденбургский, генерал-адъютант граф Ожаровский и два адъютанта: его величества — Волконский, его высочества — Воронин.

Люнеты, редуты, окопы окружали лагерь причудливо и, пожалуй что, чрезмерно причудливо — связи не проглядывалось. Но Александр сиял: враг погрязнет, взламывая этакую оборону, погубит дивизии, целые корпуса! Тут ведь столько ловушек!

Государь поглядывал на Паулуччи, и тот, зная о глухоте императора, прокричал, не сдерживая голоса и не выбирая слов:

— Ваше величество! Вы сами теперь видите бестолковость всех этих редутов, ям, валов, воздвигнутых полковником Вольцогеном на погибель армии. Смею сказать вашему величеству, Вольцоген или пошлый дурак, или откровенный изменник. В том и в другом случае вы не должны доверять сему горе-инженеру.

Александр сглотнул, горло у него дёрнулось, а принц Пётр, выждав удобной минуты, поскакал к Барклаю де Толли сообщить о ненавистном для командующего хулителе Фуля и Вольцогена.

Барклай выслушал принца и тотчас написал государю краткое письмо. Сам он стоял в двух верстах от Главной квартиры.

Письмо было отнюдь не в защиту строителей Дрисской твердыни.

«Я не понимаю, что мы будем делать с целой нашей армией в Дрисском укреплённом лагере, — написал царю командующий и военный министр. — После столь торопливого отступления мы потеряли неприятеля совершенно из виду и, будучи заключены в этом лагере, будем принуждены ожидать его со всех сторон».

Александр прочитал письмо Барклая в хорошем расположении духа. Пришли подкрепления: двадцать эскадронов кавалерии и девятнадцать батальонов пехоты.

Неприятное письмо положил к бумагам важным, но оставляемым без ответа.

Выходка Паулуччи была оскорбительна и для генерала Фуля, и для полковника Вольцогена, но нетерпящие друг друга маркиз и Барклай — заодно.

Странным образом повёл себя и генерал-квартирмейстер Мухин. Прочитавши записку Мишо, объявил государю:

— Я не понимаю, кто у нас командует армиями. По всей видимости, Фуль и Вольцоген, коли мы взялись ожидать своей погибели в сей западне. Граф Мишо прав: ради скорейшего соединения с армией Багратиона надобно левым берегом Десны отойти к Полоцку. Ваше величество, я готов тотчас с моими колонновожатыми вести войска от неминуемого позора, но мне никто не приказывает.

Александр на горячность Мухина ответил вежливым молчанием: гнев генерала был обращён не столько на устроителей дрисских укреплений, сколько против командования. А привёл сюда армию не Барклай, не сменённый с поста Начальника Штаба Лавров и не Паулуччи…

Александр отправился осматривать прибывшие эскадроны и батальоны, но попросил своего генерал-адъютанта Комаровского объехать укрепления с полковником Толем, по возможности полно выспросив о сильных и слабых сторонах Дрисских укреплений.

Толь взял с собой квартирьеров, юных прапорщиков Муравьёва 2-го и Муравьёва 5-го.

Укрепления над Двиной, а здесь она была и широка, и полноводна, занимали площадь протяжённостью в четыре километра и до трёх в глубину.

— Корпус можно поставить, но восемь корпусов?! — Толь повернулся к Николаю Муравьёву. — Какие здесь населённые пункты?

— Слева, где лес, — село Бредзново, справа — слобода Путри.

— Ты — в Бредзново, — приказал Толь Николаю и Михаилу, — ты — к Путри. Обследуйте береговые спуски.

Пока братья исполняли приказ, Толь медленно-медленно ехал поперёк лагеря.

— Видите, это — овраг, — указывал он Комаровскому. — Это — будущий овраг, но ложбина сплошь заросла шиповником, не продерёшься. Как можно тут взаимодействовать дивизиям, полкам, батальонам?

Выехали к реке.

— Посмотрите, генерал.

— Высоко! Я полагаю, удобно для отражения атак.

— Но посмотрите, какая замечательная, какая широкая отмель под сим утёсом. Не только Наполеон, но любой из его маршалов пошлёт на отмель дивизию, а то и целый корпус, дабы отсечь нам ретираду из сего добровольного капкана. Мостов собирались поставить целых семь. Они все начаты, и ни единый из них не завершён. Теперь мы имеем три моста, понтонных. Разрушить такие мосты можно и артиллерией, а можно их просто взять у нас, отбить, прикрываясь от дрисских батарей утёсом.

Прискакал Муравьёв 5-й. Прапорщик-мальчик.

— Господин генерал! Господин полковник! Сходы против слободы Путри весьма крутые.

— Своз к мосту для орудий имеется?

— Никак нет! На руках придётся спускать.

— Подождём другого моего квартирьера, — сказал Толь Комаровскому.

Стояли, смотрели, как скачет, ныряя в овраги, лошадь Муравьёва 2-го.

— Что у Бредзнова? — спросил Толь прапорщика.

— Спуски до двадцати метров, но плохо другое.

— Что же? — Толь поглядел на генерал-адъютанта: доложите-де мнение прапорщика его величеству.

— Лес вплотную подходит к лагерю. Лес очень густой.

— Вот отменно. А скажите нам, прапорщик, чем нехороша позиция сего лагеря прежде всего…

Николай побледнел от волнения, повёл глазами по фронту.

— Да вон.

— Что под сим надобно понимать? — улыбнулся Толь вполне одобрительно.

— Вон высота. Вон другая.

— Мы будем перед неприятелем как раскрытая ладонь! — решительно сказал Муравьёв 5-й.

— Пушки поставят — и картечью, — добавил Николай. — Тут ведь по прямой — близко.

— Наше счастье, что Наполеон не знает, где мы его ждём. — Толь отдал честь генералу.

— Объяснения ваши, господа квартирьеры, убедительнейшие! — Комаровский смотрел на прапорщиков благодарно и ласково.

Вернулись в Главную квартиру, а возле крыльца счастливый Муравьёв 1-й: привёл в Дрисский лагерь опостылевший ему вагенбург и, слава Богу, получил новое назначение.

— Адъютант его высочества Константина Павловича! — объявил он братьям.

— Значит, будем рядом! — возликовал Миша.

Письмо отчаянья

Шишкову совсем было худо. Ночные петухи кричали, а в голове ворочалось тяжёлое, беспросветное, и такое, что и мыслями не назовёшь.

Вконец измучившись, Александр Семёнович встал, зажёг свечи, сел писать.

И вспомнил обронённое Балашовым: государь кому-то сказал, что почтёт предателем всякого, кто вознамерится разъединить государя и его армию.

Перекрестился на икону Спаса.

— Господи! Ты ведаешь: усердие моё к государеву делу чистое и необходимое.

Писал быстро. Слова вызрели в сердце, как вызревают зёрна в колосе.

«Государь и отечество есть глава и тело. Едино без другого не может быть ни здраво,

ни цело, ни благополучно. А по сему сколько во всякое время, а наипаче военное, нужен отечеству царь, столько же царю нужно отечество».

Сердце торопило приступить к главному, но зануда-ум требовал обоснований. Александр Семёнович обливался потом от нетерпения и всё-таки смирялся, писал пространно. Однако ж и пространное было горячо, горячее, чем принято в делах государственных.

«При всей уверенности и надежде на храбрость войск наших, на воспрепятствование неприятелю простирать далее стремление своё, нужно и должно подумать о том, что может и противное тому последовать. Счастье у судьбы в руках. Нынешние обстоятельства таковы, что неприятель стремится быстро внутрь царства и мнит потрясением оного как бы отделить войска наши от связи со внутренностью империи. Самое опаснейшее для нас намерение!»

Наконец и ключевой вопрос явился на бумаге. «Всего важнее зрелое исследование, — написал Александр Семёнович и поглядел на огонь свечи — не сожгут ли, как протопопа Аввакума, за сию правду, — где наиболее нужно присутствие государя, при войсках ли или внутри России?»

Далее необходимо было рассмотреть ситуации.

«1-е, — начертал Александр Семёнович на новом чистом листе. — Государь император, находясь при войсках, не предводительствует ими, но предоставляет начальство над оными военному министру, который, хотя и называется главнокомандующим, но в присутствии его величества не берёт на себя в полной силе быть таковым с полною ответственностью».

Всё равно, что в ледяную воду кинулся. Теперь нужно выгрести к берегу.

«2-е. Присутствие императора при войсках хотя и служит к некоторому ободрению оных, но оне защищают веру, свободу, честь, государя, отечество, семейства и домы свои: довольно для них причин к ободрению; при том же имя его всегда с ними».

— Вот и поезжай с Богом! — сердито крикнул адмирал. И снова рука побежала по бумаге, будто гончая за зайцем.

«3-е. Примеры государей, предводительствовавших войсками своими, не могут служить образцами для царствующего ныне государя императора: ибо не те были побудительные причины. Пётр Великий, Фридрих Второй и нынешний наш неприятель Наполеон должны были делать то: первый — потому что заводил регулярные войска; второй — потому что всё королевство его было, так сказать, обращено в воинские силы; третий — потому что не рождением, но случаем и счастием взошёл на престол. Все сии причины не существуют для Александра Первого».

В четвёртом пункте адмирал принялся рассуждать о храбрости.

Многими словесами прикрыл важную и очень нужную для такого послания мысль. Поставив храбрость в похвалу простому воину, назвав предосудительной для полководца, написал: «Храбрость в царе тем предосудительнее может быть, чем целое царство больше войск; ибо ежели он будет убит или взят в плен, то государство, сделавшись в смутное время без главы, дорого заплатит за привязанность его к личной славе».

Перечитал, переписал набело, лёг спать и выспался.

Утром к Шишкову явился полковник Чернышов, знаменитый разведчик, приведший в ярость самого Наполеона.

— Государь приказал спросить у вас, не найдёте ли чего поправить, — и положил перед Государственным секретарём уже напечатанный рескрипт.

Александр Семёнович так и ахнул, хотя и без звука. Писано было чёрным по белому, но сам он теперь красный: лицо горит, шея в огне.

Царь извещал армию о скором сражении, ободрял, и более всего тем, что он, монарх, будет с солдатами и не отлучится от них, как бы ни повернулось дело.

Шишков яростно вымарал абзац. Глянул на изумлённого Чернышова:

— Донесите государю, господин полковник, что сие зависеть будет от обстоятельств и что его величество не может сего обещать, не подвергаясь опасности не сдержать слово, данное солдатам и всей армии.

Болезнь ещё не оставила адмирала, но на хворобу Бог времени не дал.

Оделся, поехал к Балашову. Министр полиции занимал богатейший дом бежавшего к Наполеону поляка.

— Александр Дмитриевич, — прочитай и скажи, что думаешь. Скажи правду. Пусть она будет для меня самой горькой.

Шишков положил перед министром своё письмо, сел возле окна, посмотрел на пруд. Правильный овал, зелёная подстриженная трава. Красиво и неестественно. По-европейски.

Балашов письмо читал долго. Александру Семёновичу стало не по себе, но тут он услышал:

— Мы обо всём этом говорили, сомнение в одном: будет ли прок от письма?

— Александр Дмитриевич! — резво вскочил на подгибающиеся от слабости ноги Государственный секретарь. — Богом тебя прошу! Съезди к Аракчееву, выведай его мнение о сём предмете. Он ведь без наименования, но военный министр.

— А военный министр с именованием — всего лишь зритель происходящего. Тотчас и поеду.

— Бог наградит вас! — У Шишкова слёзы дрожали в голосе. — Александр Дмитриевич, коли уж вы там будете, привезите печатный листок приказа войскам. Мне его поутру представил флигель-адъютант Чернышов.

— Мой слуга напоит вас чаем. Ожидайте меня здесь.

Балашов уехал. Пришлось пить чай. Чай лечит болезнь ожидания. Александр Дмитриевич обернулся необыкновенно скоро. К четвёртой чашке поспел.

— Докладываю! — у порога вытянулся не хуже служаки унтера. — Граф мнения вашего, господин Государственный секретарь, не отвергает.

— Господи! — перекрестился Шишков, тоже стоя и тоже чуть ли не навытяжку.

— Однако ж… — Балашов подошёл к столу, сел, Александр Семёнович тоже сел. — Однако ж граф не знает, каким средством достигнуть предлагаемого.

— Приказ по войскам привезли? — быстро спросил Шишков.

Взял листок, глянул в него и блаженно откинулся на спинку стула: вычеркнутых слов в приказе не было.

— Я кое-что всё-таки значу! — придвинулся через стол к Балашову. — Письмо надобно подписать тремя подписями. Обоснованием тому: просьба государя собираться нам троим и обсуждать важнейшие дела.

Чашки были отодвинуты. Александр Семёнович принялся за очередной вариант послания.

«Его императорскому величеству угодно было изъявить волю свою, чтоб мы трое (нижеподписавшиеся) имели между собою сношение и рассуждали обо всём, что может быть к пользе государя и отечества.

Во исполнение сего высочайшего нам поручения, входя обстоятельно во все подробности настоящего времени и состояния дел, мы по долгу присяги и по чувствам горячего усердия и любви к государю и отечеству, рассуждаем следующее…» Далее следовал прежний текст.

Закончив переписывать письмо, Шишков на последней странице сделал большой отступ, для подписей Аракчеева и Балашова, и подмахнул весьма опасную сию бумагу.

— Александр Дмитриевич, дело не терпит отсрочек и промедлений. Отвезите письмо Аракчееву. Подпишет — оставьте, не подпишет — привезите: я его отправлю с припискою: «В собственные его величества руки».

— Еду, — только и сказал министр-курьер.

Шишков снова принялся пить чай, хотя давно уж пришла пора обеду. Балашова не было час, другой… Воротился и, увидевши адмирала, даже руками всплеснул:

— Александр Семёнович! Я из ставки послал на вашу квартиру человека уведомить вас в положительном решении нашего дела. Граф письмо подписал, взялся отдать оное в собственные руки, но не тотчас, а когда будет пристойно и с благополучными видами.

— Пойду доболею. — Шишков улыбался, рубашка на нём была мокрая от пота: то ли чаю много выпил, то ли болезнь выходила порами.

Падение Дрисского лагеря

В Гаупт-квартиру прибыл генерал-лейтенант Остерман-Толстой. После сообщения об участии столь славного волонтёра в сражении под Вилькомиром император Александр разрешил строптивцу вернуться в действительную службу. А на другой уже день, выслушав мнение Аракчеева, издал указ: граф Александр Иванович Остерман назначался командиром 4-го пехотного корпуса.

Новоиспечённый начальник сразу после представления государю попал в комиссию, решавшую судьбу Дрисского лагеря.

Укрепления в который раз объезжали: сам Александр, его учитель генерал-майор фон Фуль, генералы Паулуччи, Армфельд, Беннигсен. В свите были Толь, Мишо, Нессельроде, Анстед, Багговут. Из русских — Аракчеев, граф Остерман, Тучков 1-й, Дохтуров, Ермолов.

На голову Фуля сыпался град насмешек, вспыхивал гнев. Кто-то резонно говорил: для такого лагеря войск надобно вдвое, втрое больше; слышались столь же резонные возражения — здесь корпусу тесно.

— Сия городьба, стоившая многих тысяч серебром, есть полное забвение оборонительного искусства! Сия городьба — не что иное, как насмешка над военной наукой! — Маркиз Паулуччи был красноречив. Его изречения так ему нравились, что он пустился давать оценку всему происшедшему. — Прискорбно, господа! Стотысячная наша армия позволила французам переправиться через Неман, не удостоив не только столкновениями хотя бы арьергардного порядка, но ни единым выстрелом! Войска Багратиона, назначенные громить тылы неприятеля, действуют на удивление робко. Багратион мог бы уничтожить передовые отряды маршала Даву под Минском, и соединение двух наших армий было бы состоявшимся фактом. Но Багратион пошёл из Несвижа к Бобруйску, бросился прочь от нас и увлёк за собою два корпуса, Понятовского и вестфальцев. Где они теперь, надежды на соединение? Так нельзя воевать, господа! В современной войне предосудительно быть неграмотным. А коли мы неграмотны, придётся отступать и отступать. Не знаю, как вам, а мне, господа, стыдновато за мой мундир генерала.

— Мой мундир! Для вас и Россия — мундир. Вы его надели, вы его снимите. Для меня Россия — моя кожа.

Все повернулись на голос — Остерман-Толстой.

Разговоры тотчас иссякли. До Гаупт-квартиры ехали молча. Перед началом совета Александр увлёк за собою Вольцогена:

— Вы предложите отход, и немедленный! Причина — огромное численное превосходство противника.

Обсуждение Дрисского лагеря, однако, состоялось. Было

сказано о недостаточной связи между укреплениями, об удобных для неприятеля подходах к люнетам и редутам, о слабости профилей укреплений, о чрезмерной тесноте трёх мостовых бастионов.

Заодно досталось немцу Гекелю, строившему крепость в Динабурге. За два года работ сей военный зодчий положил в гробы пять тысяч мужиков, израсходовал огромные суммы, а построенного — каменный пороховой погреб, каменная караульня да один мост. Что же до крепостной линии, она даже не обозначена.

Стали говорить о крепостях в Риге, в Киеве, в Бобруйске. И всё более о воровстве… Тут и поднялся строитель Дрисских укреплений, правая рука Фуля, полковник Вольцоген:

— Господа генералы! Господа обер-офицеры! Ввиду нависающей опасности над 1-й армией — численное превосходство вторгшихся войск подавляюще велико — предлагаю покинуть Дрисский лагерь, и немедленно.

Тотчас встал вопрос: куда отходить. Государь молчал. И наконец-то Барклай де Толли вспомнил, что командующий здесь — он. Назвал Витебск. Витебск — самое удобное место для соединения армий.

Решивши снова бежать, послали командира арьергарда барона Корфа сделать рекогносцировку и, главное, найти неприятеля.

Увы! Поиск французской армии результатов не дал.

Юные квартирмейстеры ужасно веселились. Выходило: армия так удачно спряталась от Наполеона, что всю войну, до её окончания, может просидеть в Дрисском лагере, никем не потревоженная.

— Господи! Вот она у нас, Россия, какая! — У Миши Муравьёва от чувств слёзы на глазах посверкивали. — Две армии потерялись, хотя в прятки не играли! Полумиллионная и стотысячная!

От Дрисского лагеря прямая дорога вела к Полоцку. Отправились обозы, артиллерия.

Государь оставался на месте. Надо было здесь, в этом охаянном лагере покончить со всеми немецкими просчётами, со всею русской бестолочью. И посему 1-го июля были сделаны назначения, перемещения.

Александр отправил маршала Паулуччи — комендантом Риги, а начальником штаба назначил генерал-майора Ермолова. Аракчеев предлагал Титова 1-го, но согласился: лишить корпус умного, блистательного командира — не ко времени.

Ермолов пришёл в ужас от своего возвышения. Он командовал гвардейской дивизией и почитал сию должность свою за счастье. Кинулся к Аракчееву, просил заступиться. Аракчеев отправил генерала к государю.

Жарко говорил Алексей Петрович его величеству о многотрудности новой для себя должности, о неподготовленности к ней, о том, что начальником штаба должен быть человек

проницательный и уж, по крайней мере, более известный армии.

— Известность наживается быстро, — сказал Александр, не отступая от своего решения.

— Ваше величество! — взмолился напоследок Ермолов. — Коли, испытав меня, обнаружат несчастную непригодность мою к должности, прошу вернуть на прежнее место — командира дивизии, ибо ничего более лестного для себя желать не могу.

Государь был милостив:

— Вы будете числиться в откомандировании.

Отставили от должности Мухина, генерал-квартирьером был назначен Толь.

Имел беседу Александр и со своим генерал-адъютантом Комаровским. Пока не отпускал от себя, но попросил подумать о наиболее безболезненном рекрутировании мужиков и лошадей для армии. В юго-западные губернии Комаровский отправится для сей миссии уже из Петербурга.

2-го июля Главная Квартира поднялась с места. Государь умчался в Полоцк не хуже курьера — армия сей путь совершила в три дня.

Александра Семёновича Шишкова дороги не растрясли — от своего дела не отступал. Уже в Полоцке взял в оборот Балашова: выведай, отдал ли Аракчеев письмо его величеству. Ответ не утешил: удобного случая не было. Но государев наперсник впервой дал твёрдое обещание: письмо ляжет на стол императора завтра.

Маленькие беды прапорщика

Русская армия отступала.

Перед Полоцком корпус лейб-гвардии, ведомый великим князем Константином, остановился в придорожной деревеньке. В домах поместились великий князь, генералы, обер-офицеры.

Прапорщики Муравьёвы ночевали возле костра. За три недели походной жизни, когда все ночи спали под открытым небом, даже в дождь, стало быть, не снимая одежды, в сапогах — оборвались. Разумеется, обходились без бани, постоянно впроголодь. Не прибавила такая жизнь квартирьерам ни здоровья, ни воинственности. Спать тоже ведь не давали. Нужно было скакать среди ночи с приказом, не зная дороги, не видя огней.

В тот вечер, перед Полоцком, братьям повезло. Слуга Муравьёва 1-го лентяй Владимир добыл мослы и рёбра то ли козы, то ли барана.

Сварили бульон, заправили солдатскими сухарями… Хлебали хуже оголодавших мужиков, соскребали зубами остатки мяса с костей, грызли луковицы — горько, а всё ж еда. Заодно лекарство. Миша кашлял, у Николая, у 2-го, завелась цинга, но не на дёснах, слава Богу, — на ногах. И это было не слава Богу. Ноги зудели, расчёсанные во сне, покрылись язвами. Язвы мокли, нарывали. Один Александр держался молодцом.

Пир прапорщиков увидел проходивший мимо великий князь.

— Тептеря! Истинные тептеря! — хохотал он, глядя на оборванцев.

Лето, а в шинелях, — впрочем, то и дело дождь накрапывает, — сапоги потёртые, на сгибах дыры. Физиономии чумазы от дыма, от головёшек.

— Я узнал, что такое тептеря! — сказал братьям Миша. — Это какое-то племя, из беглых финнов и чувашей.

— Темнеет, ребята. Все угомонились, — сказал Александр.

Стянули мундиры, рубахи, стряхивали в огонь вшей.

— Обильно! — морщился Николай.

— Из грязи, что ли, рождается вся сия пропасть? — Миша, брезгливо отстраняясь, держал ворот мундира над огнём. — Потрескивают!

— Сожжёшь! — Александр сердито выдернул у него мундир.

От великого князя вышел адъютант. Приказал старшим братьям:

— Езжайте немедля в Полоцк, в Гаупт-Квартиру. Доложите государю, его высочество будет к нему завтра в девять часов поутру.

Братья уехали. Миша остался один у костра. Вкатил в огонь берёзовый пень, он заменял им стол. И вовремя. Потянуло сырым сквозняком с реки, резко похолодало, а из неказистого серого облака посыпался как горох крупный дождь.

Миша поглядел на шалаш своего командира Куруты. Для Куруты солдаты соорудили скорое, но здоровое жилище. Курута, должно быть, ужинал с великим князем, шалаш пустовал, но укрыться от непогоды в чужом жилище, хоть это всего шалаш, — казалось неприличным.

Муравьев 5-й побродил по двору, собрал палки, щепки, нашёл пару досок — костёр подношению обрадовался, но дождь не унимался, головёшки стали шипеть, дымить и гаснуть. Шинель отяжелела, и Мишу вдруг прошибло жестоким ознобом.

Трясущийся, перепуганный, он забрался в шалаш, лёг с краю. Сжался, скрючился и заснул.

Его разбудил чуть ли не пинок.

— Кто здесь?! Почему?!

Прапорщик вскочил, ничего не понимая.

— Муравьёв?! Да ты забылся, дружок! Как посмел занять жилище своего командира? Ты забылся!

Прапорщик молчал. Очутившись на дожде, на ветру, снова дрожал. Курута вошёл в свой шалаш и успокоился:

— Вы дурно сделали, Муравьёв, занявши моё место, а я сделал ещё более худшее, ибо прогнал вас вон.

Стянул сапоги, лёг и заснул, не пригласив прапорщика укрыться от непогоды.

Миша остался мокнуть. Обошёл дом, где стоял великий князь, лёг на землю спиной к бревну.

Не размок за ночь.

Историческое деяние адмирала Шишкова

Император Александр сидел за письмом Председателю Комитета министров фельдмаршалу Салтыкову: «Решиться на генеральное сражение столь же щекотливо, как и от оного отказаться. — Приходилось признать свою нерешительность. — В том и другом случае можно легко открыть дорогу на Петербург, но, потеряв сражение, трудно будет исправиться для продолжения кампании…»

Письмо было не кончено, когда приехал брат Константин.

Спросил с порога:

— До каких пределов намечено наше отступление? Кто у тебя в советчиках?

Видя раздражение его высочества, Александр огородил себя от резкостей самою ласковой, самой понимающей улыбкой.

— Советуют наперебой, а хранит Господь.

— Уж так хранит, что все цивилизованные губернии утрачены без боя. Ежели Наполеон будет желанен не только полякам и литовцам, но и твоим мужикам, мы потеряем Россию и собственные головы.

— Что так расстроило тебя?! — В лице государя не убыло ни ласковости, ни желания понять. — Мы же ничего не проиграли. Отступаем, но побед за Наполеоном пока что нет.

— Пока их нет, надобно заключить мир, и без промедления, не доводя дела до битвы, до краха — армии, государства, династии.

— Тебе матушка написала? — спросил Александр.

— Наша мать — воплощение государственной мудрости. Не видя, как мы воюем, она спрашивает, где надёжнее укрыться, в Архангельске, в Вологде, или же сразу ехать за Урал.

Александр поблёк, осунулся, сгорбился. Поднявши глаза на брата, собрал на чистом лбу своём нежданные морщины.

— Я — человек мягкий. До поры. Но это мною сказано: буду отступать до камчатских вулканов, а мира Наполеону — не дам!

Константин Павлович хлестнул перчатками по сияющему голенищу сапога и вышел вон от царствующего упрямца.

Александр Семёнович Шишков ждал обеда, как «Андрея Первозванного». К обеду Балашов обещал привезти известия от Аракчеева. Задержался. Отобедал с графом. Шишков-то есть не мог. До еды ли!

Увы! Балашов не обрадовал.

Аракчеев не посмел подать письма в собственные его величества руки, ибо после утренней беседы с великим князем государь был грустен и рассеян.

— А завтра государь чрезмерно развеселится! — вспыхнул Шишков.

— Не горячитесь, Александр Семёнович! — успокоил адмирала министр полиции. — Граф решил дождаться вечера. Когда государь пойдёт спать, Алексей Андреевич положит наше письмо на столик, дабы его величество

прочитал оное поутру, со свежей головой.

Всякая минута следующего дня была пыткой, ибо длилась шестьдесят секунд. Балашов, щадя старика, поехал к Аракчееву. Вернулся заскучавший. Сказал:

— Бумага положена вчера на столик. Граф был поутру у государя, и его величество изволил сказать: «Я читал ваше послание».

— Но отразилась ли что в лице у государя?

— А что у нашего монарха может быть в лице? Благожелание.

Призадумались.

— Александр Дмитриевич! — осенило адмирала. — Найдите причину попроситься к государю с докладом. Что-то ведь должен сказать.

Министра полиции Александр принял, доклад выслушал, но о письме ни слова, будто его не было.

— Пусть я болен, но дело-то безотлагательное! — Александр Семёнович, взявши самые важные бумаги, отправился в Главную квартиру.

Доложили о Государственном секретаре. Александр тотчас позвал, доклад выслушал. А на лице — покой, величавость, государственная печаль.

Отпуская, спросил:

— Александр Семёнович! Как чувствуешь себя?

— Гораздо лучше, ваше величество. С постели поднялся.

— В пище имей воздержание. Самое верное из лекарств! Я свои немочи — голодом лечу.

В голосе доброе участие, стало быть, не гневается, но молчит. Молчит о письме.

Выходит — не согласен с троицей ближнего круга. Впрочем, другого столь скрытного человека в словах, в проявлении чувств — Шишков за свою жизнь не знал.

Бесконечный день наконец-то закончился. Ночь показалась короткой, как мигунья-зарница. Наступило 6 июля.

Поднявшись ни свет ни заря, Александр Семёнович помолился преподобному Сисою Великому. Сей отшельник, подвязавшийся в Египетской пустыни, думал не о подвигах, но о смирении, о покаянии. На смертном одре, увидевши Ангелов, явившихся принять душу, просил Их дать ему краткое время опять-таки для покаяния. Ученики были в изумлении: «Авва, тебе ли думать о покаянии, когда вся жизнь твоя — смирение смиреннейшего?» Отвечал им преподобный Сисой: «Братия! Поистине не ведаю, сотворил ли я хотя бы начало покаяния». И увидел Господа Бога.

Молитва настроила Шишкова на терпеливое принятие всего, что должно быть.

Приехал к государю, а тот уже на коне: к Барклаю де Толли отправился.

«Неужто о сражении будут говорить!» — похолодел адмирал, но обер-гофмаршал граф Пётр Александрович Толстой отвёл его в сторону и шепнул:

— Велено приготовить коляски к ночи. Идём в Москву.

Возликовала душа Государственного секретаря. Крестился, плакал:

— Благодарю тебя, великий во смирении авва Сисой! Воскресил меня, грешного, нетерпеливого, для трудов во благо царю и Отечеству.

Александр Павлович вернулся от Барклая весьма скоро, тотчас пригласил в кабинет Государственного секретаря.

— Приготовь воззвание к Москве.

«Бегу без ума от восхищения, — напишет в мемуарах об этом повелении государя, — беру перо, излагаю сию бумагу. Государь отъезжает, на пути подписывает её и посылает в Москву с генерал-адъютантом Трубецким».

В поезде его величества, состоявшем из доброй сотни экипажей, в древнюю столицу отбыли: Аракчеев, Балашов, Шишков.

Весёлая служба

Дожди иссякли, грянула жара. Клубящиеся вихри пыли ползли по дорогам, словно разбегался от рожающей гадюки выводок змеёнышей. Таяла, уступаемая врагу, русская земля.

2-я армия Багратиона, на треть меньшая 1-й, отступала с боями… Великий стратег Фуль, а император Александр следовал его науке, самой лучшей, немецкой, полагал войну игрой маневров. Убегавшая от противника 1-я армия по плану немецкого синклита Александра должна была увлечь главные силы Наполеона за собою и дать в Дрисском лагере генеральное сражение. 2-й армии отводилась роль засадной. Ей предписывалось бить французов с тыла. И — конец игре. Самый лучший исход для попавших в окружение — положить оружие и сдаться.

Покуда Александр воевал русскими войсками по-немецки — на деле это обернулось бессмысленным пятидневным проеданием скудных запасов продовольствия в Дрисском лагере, вдали от противника — Наполеон воевал по-наполеоновски. Без мудростей.

Александр сам расчленил свою армию — половина забот долой, остаётся уничтожить сначала меньшую числом, а потом, опять-таки расчленяя, основную силу.

Багратиона преследовал брат Наполеона Жером.

Приказы от царя Багратион получал истинно немецкие: действовать в тылу правого фланга противника, но отходить к Борисову. Как говорится — хоть разорвись.

Повезло 2-й армии. Жером Бонапарт, король Вестфалии, был Бонапартом, а всё — не Наполеоном.

Александр бессмысленно пять дней простоял в Дрисском лагере, Жером с вестфальцами пять дней — в Гродно.

2-я армия вывернулась из смыкавшихся клещей, ушла к Новогрудкам — приказ Александра и Барклая де Толли.

Наполеон дал брату нагоняй и подчинил маршалу Даву. Жером, оскорблённый, сложил с себя командование и отбыл в собственное королевство.

Но Багратион и Даву обманул — лучшего маршала Наполеона.

2-я армия была на марше от Бобруйска к Могилёву. От Могилёва до Витебска, где стояла 1-я армия, прямая дорога.

Даву занял Могилёв и приготовился к встрече русских. Русские двигались с юга. Для сражения Даву выбрал деревню Салтановку. Отгорожена от наступающих ручьём, ручей впадает в Днепр. Не сбежишь. Вокруг Салтановки болота, дороги и тропы по плотинам. Плотины французы разрушили, мосты взяли под прицел мощных батарей.

А у русских разведка подкачала. Казаки Платова доложили Багратиону: в Могилёве гарнизонишка. Громада обозов с продовольствием, со снарядами, с ранеными, резво пошла в приготовленную ловушку.

Слава Богу, через день казаки покаялись в оплошности: Могилёв занят Даву.

Армии сблизились, кинуться к переправам через Днепр — на мостах перемолотят.

Остаётся одно: переправляться и бить. Бить так, чтоб опытные генералы Наполеона поверили — наступает армия.

7-й пехотный корпус Раевского атаковал французов как раз под Салтановкой. Даву в расчётах не ошибся.

Но нужно было придать наступлению масштабности. Ахтырский гусарский полк и подоспевшая за конницей пехотная дивизия генерала Паскевича ударили во фланг корпуса вестфальцев.

Первый натиск был для русских победным. Ворвались в самый центр укреплений, обратили в бегство пехоту. Но вскоре пришлось отступить: Даву прислал подкрепления.

Французы могли через час-другой разгадать: удар отвлекающий. И для полноты впечатлений вокруг Могилёва по всем дорогам мчались казачьи разъезды. Схватывались со сторожевыми отрядами, маячили на высоких холмах.

— Слава Богу! Слава Богу! — кричал в восторге Парпара, показывая Василию Перовскому на столб пыли, поднятый полусотней.

— Чему радуешься?! — Харлампий стряхивал пыль с груди, с рукавов. — Задохнёмся.

— Прочихаешься! А радуюсь, медведь ты наш длинношёрстый, другу ветру. Клубищи-то не хуже облаков. Французы в штаны, небось, напустили, чают на головы свои дивизии несметные.

Тут-то и ахнула пушка. За ней другая, третья. Французы хоть и не видели, какая сила на них прёт, но бежать не собирались.

Казакам приказано было не воевать — пылить. Стали откатываться.

Перовский вдруг воспротивился:

— Пусть кто-то постреляет отсюда, а мы по балочке да за спину к ним.

Прапорщик зелен в боевых делах, но предлагал дело.

Балка поросла кустарником, скрыла движение. Наскочили, артиллеристов посекли. Пушки хотели взорвать, но Перовский и тут воспротивился:

— Лошади-то ихние! Увезём.

Пушки взяли, но ящики с зарядами оставили. Отъехали, пальнули. Рвануло замечательно!

— Ваше благородие! Заработал орденок! Магарыч с тебя! — хвалили Перовского 2-го казаки.

Весёлая служба выпала казакам генерала Карпова.

А вот Перовскому 1-му было не до веселия. Следил за переправой через плавучий мост в Новом Быхове.

Переправа — дело мучительно долгое, а посему — нервное. Держать порядок, пресекая суету, тесноту — служба тяжкая, а вместо награды — ярость спешащих на берег жизни, недовольство начальников, проклятия оставленных ждать очереди беженцев.

Вот чем пришлось заниматься два дня и две ночи прапорщику Перовскому 1-му.

Сражение у деревни Салтановки произошло 11 июля, а ещё через одиннадцать дней — 22-го — армия, ведомая Багратионом, вошла в Смоленск.

Армии соединились, и тотчас встал вопрос, кому командовать. Багратион и Барклай де Толли — получили звания генералов от инфантерии в одно время. Но Багратион в указе поставлен первым. Стало быть, старшинство за ним.

И — горестная весть: Пётр Иванович добровольно уступил место главнокомандующего «Болтаю да и только». (У русского солдата язык — второй штык.) Верх — опять за немцами.

Генералы негодовали открыто: Ермолов, Раевский, Дохтуров, Коновницын, атаман Платов.

Братья Тучковы, Васильчиков, Кутайсов были приглашены великим князем Константином Павловичем обсудить несчастье русского войска.

Речи были горячие. Ермолов, как начальник штаба, имел право писать к государю. Отправился составить доклад его величеству о состоянии армии, высказать свои и общие опасения.

Великий князь кипел-кипел и вскипел.

— Курута! — закричал он своему помощнику. — Езжай за мной!

Поскакал с адъютантами в ставку Барклая де Толли. Александр Муравьёв, получивший чин подпоручика, был в тот день дежурным офицером при Константине.

Вошли к главнокомандующему без доклада, втроём: Константин, Курута, Муравьёв. Великий князь шляпу не снял, хотя у Барклая голова была обнажена.

Закричал на министра, на первое лицо армии, как на слугу:

— Немец! Шмерц! Изменник! Ты продаёшь Россию! Я не хочу состоять у тебя в команде. Курута! Напиши от меня рапорт к

Багратиону. Я с корпусом перехожу в его армию.

А далее грянул мат-перемат, солдатам на зависть.

Ставка Барклая помещалась в сарае. Великий князь орал, а Барклай, весь в себе, ходил взад-вперёд.

Услышав брань, остановился, посмотрел на красное, кривящееся лицо его высочества и пошёл себе, туда-сюда, туда-сюда.

— Каково я этого немца отделал! — хохотал Константин на обратной дороге.

Минул час, минул другой... И — вот он ответ.

Явился адъютант главнокомандующего с приказом:

— Корпус сдать генералу Лаврову. Немедленно выехать из армии.

Константин тотчас сел в коляску. Заорал на кучера:

— В Петербург! Курьерски!

Помещик

Тарантас покойный, земля ласковая, вместо возницы управляющий имением.

Михаил Илларионович, пустившийся спозаранок обозреть свои владения, блаженно вздрёмывал от самых ворот — потревожить господина было бы управляющему начётисто. Остановил тарантас в тени огромной, знаменитой на всю округу липы. Ветерки с лугов травяные. Благодать.

Как только лошади стали, Михаил Илларионович пробудился, но не тревожил управляющего. Славно, когда о твоём покое доброе попечение.

В лесу скрипело дерево, но казалось, это гуляет на липовой ноге мудрый медведь. Себя Михаил Илларионович тоже ощущал медведем: охотники выгоняют несчастных из берлог, здесь наоборот — водворили в берлогу. Обиду в сердце не пускал; обижайся, кипи, а отпуск предстоял бессрочный. Вместо великого служения царю и Отечеству поглядывай, хороша ли трава в пойме, быть ли по осени с хлебом.

— Пан Спиридон! — окликнул Михаил Илларионович управляющего. — А не завести ли пасеку в сей роще?

— Отчего же не завести? Липовый мёд отменнейший, да цветенье-то короткое.

— Так надобно гречей пустошь засеять.

— Земля бедная, подзол.

— Нам не зерно дорого — мёд. Клевером засей пустошь.

— Разве что клевером, — согласился управляющий, трогая лошадей.

Михаил Илларионович молчал. Долго молчал. Пан Спиридон даже оглянулся.

— Я на болотце гляжу, — сказал ему Михаил Илларионович. — Лягушек разводим... Пруд здесь нужно устроить. Найми в монастыре умельцев, монастырям рыбные пруды великую прибыль дают. Денег на мастеров не жалей. Кое-как сделаешь, кое-что получишь.

Тоской окатило: у командира полка хозяйственных забот куда больше, чем у помещика средней руки.

Обедал Михаил Илларионович в одиночестве, но осеняемый предками. На стенах портреты и парсуны: отца Илларион Матвеевича, генерал-майора инженерных войск, строителя Екатерининского канала в Петербурге, фельдмаршала Ивана Логиновича, директора морского корпуса, президента адмиралтейств-коллегии. (У Ивана Логиновича жил с младенческих лет, у него в доме и жену нашёл.) На парсунах Гаврила Фёдорович Кутуз, новгородский посадник Василий Ананьевич, прозванный Голенищевым, Дмитрий Михайлович Пожарский, Евфросинья Фёдоровна Беклемишева — родительница спасителя России. Как так вышло: нет ни единого портрета матушки. И Михаил Илларионович смотрел на парсуну Евфросиньи, ища драгоценные черты. Никогда им не виданные: матушка дала ему жизнь и отошла к Богу. Матушка — Беклемишева[2]. Вот и он, пусть не Пожарский, а всё же генерал от инфантерии, победитель турок!

Михаил Илларионович поднял бокал.

— Поздравьте графом. Всё, чего достиг. — Улыбнулся Ивану Логиновичу. — В фельдмаршалы не вышел, так что ты у нас, дядюшка, флагман. — Отпил глоток вина и снова поднял бокал. — Благословите, отцы и матеря, новоявленного помещика. Авось, прокормлюсь.

Поспать после обеда дело святое. А вот куда девать долгий вечер? И до чего же свободна голова! Не надобно думать, какую паутину навешивает на турецкого султана... Как же его?.. Михаил Илларионович даже брови поднял — имя французского посла забыл, какое там забыл, будто не знал!

Господи! Вот оно, отдохновенье бедной головушке. Пусть Барклай думает, как отзовётся на России союз Австрии и Наполеона. Сколь боеспособна армия поляков, готовая служить Франции, что ждать от солдат Пруссии? Будут ли сражаться против русских с тем же упорством, с каким противостояли маршалам Наполеона? И, в конце концов, чего ждать от Швеции? Рискнёт ли Бернадот выставить армию против своего благодетеля, своих товарищей по оружию.

Михаил Илларионович, сидя в креслах на террасе, смотрел, как опускается солнце. Уходит день, прожитый не ради славы, а ради... чего же ради-то?..

— Всё ещё дитя! — сказал сам о себе генерал от инфантерии и не улыбнулся.

Экипаж! К имению! Кого Бог послал?!

И уже через несколько минут, обливаясь слезами, Михаил Илларионович целовал солнышко

---

[2] Это преудивительно, но до сих пор неизвестно даже имя матери полководца Кутузова

Катеньку, внучку, и прекрасную, как денница, дочь Екатерину.

Грустное сумерничанье большого дома сменилось праздником. Гостиная сияла огнями, сияло серебро на столе, светился помолодевший Михаил Илларионович.

— Драгоценные мои Екатерины! Вы есмь первая награда новой моей мирной жизни. Такая нежданная и такая скорая!

Маленькая Катенька, отпивая шоколад маленькими глоточками, щурила глазки на дедушку, голосок у неё был мурлыкающий:

— А ты теперь вправду граф? — спросила она вдруг.

— Разве я не похож на графа?! — удивился Михаил Илларионович.

Девочка пощурила глазки, пощурила и покачала головой:

— Не похож.

— А на генерала?

— На генерала похож, на графа — нисколечки. Ты похож на герцога.

— На герцога?!

— Мой папа князь. А ты ведь вон какой...

— Да какой же?

— Папа подполковник, а ты главнокомандующий!

— Княжна Кудашева! Твой батюшка Николай Данилович такой храбрец, такой умница, что ему со временем должно быть фельдмаршалом, генерал-губернатором, членом Государственного Совета.

— Граф-дедушка, — мурлыкнула Катенька, — ты назвал меня и маму в честь великой императрицы Екатерины? Самой-самой Екатерины?!

— Матушке императрице я всем счастьем своим, всею службою обязан. Великая государыня приметила меня в мои девятнадцать лет. Приезжала в Ревель, а я был при генерал-губернаторе и генерал-фельдмаршале принце Голштейн-Бекском. Подойдя ко мне, когда мы ей представлялись в очередь, спросила: желаю ли я отличиться на поле чести? От нечаянности я смешался, ответил неловко, но искренне: «С большим удовольствием, Великая Государыня!» В ту пору я был капитаном и управлял всею канцелярией Ревельского губернаторства. Теперь и подумать страшно, как это в девятнадцать лет брал я на себя столько дел, от которых зависела жизнь целого края!

Что до императрицы? Будучи всем подданным своим матерью, государыня, должно быть, пожалела меня и позвала на поле брани. А уж заботлива она, свет наш, была истинно по-матерински. Под Полтавою мне довелось показывать битву русских со шведами. Государыня, приметив, что лошадь подо мною чрезмерно норовиста, приказала поменять.

— Я каждый день поминаю рабу Божию Екатерину — царственную благодетельницу нашего семейства! — призналась Екатерина Михайловна.

— Граф Голенищев-Кутузов! — Катенька состроила умную рожицу. — Открой нам с мамой: наш православный государь победит безбожного Наполеона, если тот пойдёт войной на русскую землю?

Или… произойдёт ужасное…

— Ты у нас истинная Кутузова! — серьёзно сказал дедушка. — Если с нами Бог, то и победа будет за нами.

— Генерал Голенищев-Кутузов, а ты пойдёшь воевать с Наполеоном? — не сдавалась Катенька.

— Война — удел молодых… Меня государь на покойную жизнь благословил. Но все ходим под Богом. Коли позовёт — ноги в сапоги, и солдат готов.

— Я тебя люблю, дедушка! — Катенька положила головку на ручку и заснула.

— В дороге умаялась, — сказала Екатерина Михайловна. — Такая щебетунья растёт!

— В головке-то вон какие заботы — Кутузова. Кутузова!

Катеньку слуги отнесли в спальню, а граф и дочь-княгиня вышли на террасу.

Соловьи свистали. День угас, но облака розовели.

— Как пионы! — порадовалась княгиня и спросила: — Отчего царь не любит тебя?

— Русского барина во мне видит. Он у нас немец! До кончиков ногтей немец.

— Я слышала неприятное, — осторожно сказала княгиня, — будто бы Александр… порицает тебя за лукавство.

Михаил Илларионович встрепенулся:

— Так и есть! С лукавыми лукавый. Я этих самых лукавых, что толпою вокруг царя, перелукавлю и перевылукавлю. Ибо пред чистыми чист! Перед солдатами, поручиками, майорами… Бог меня будет судить, а суд ищущих царских милостей — прах и пыль. Впрочем, всё позади. Я теперь никому не надобен, со всем моим лукавством и со всею правдой.

— Батюшка, а ты на войне когда-нибудь рисковал?

— И про это в свете говорят? А две пули в голове? Да ведь и в дипломатах одна история с султанским садом чего стоит.

— Я про сад ничего не знаю.

— Когда я был послом в Стамбуле, приметил заносчивость в турках. И однажды на коне въехал в султанский сад. А в сей сад запрещено было заходить под страхом смерти. Султанские чауши изумились моему явлению: «Кто таков?» А я их словом, как саблей по башкам: «Я есть имя той монархини, пред которою ничего не вянет, а всё цветёт — имя Екатерины Великой, императрицы Всероссийской, которая ныне милует вас миром!»

Переполох был ужасный, но смирились. Посол ведь действительно представляет монарха.

— А зачем ты так? — У Екатерины Михайловны дрогнул голос.

— Ради славы и могущества России! — Вздохнул. — Был твой отец кем-то, чем-то и вот до помещика дослужился.

Святая вода на дорогу

На другой день ездили к игуменье Мастридии. Дивная матушка привадила доброе и лютое зверьё.

Высокие гости смогли наблюдать, как из одного корыта насыщались грозный кабан и волчица с тремя молодыми волчатами. Дикие козы брали хлеб из рук инокини и не испугались маленькой Катеньки.

— У них губы, как бархат! — изумлялась княжна. — Немножко, правда, шершавый бархат.

Матушка Мастридия сама водила гостей на поляну, сплошь заросшую синими барвинками. Там из расколовшегося надвое камня бежала вода.

— Святая! — Игуменья подала ковш Михаилу Илларионовичу. — Выпейте перед дальней дорогой.

— Это у них дорога! — показал генерал на дочь и внучку. — Я отныне человек местный.

Матушка Мастридия улыбнулась, но в глазах у неё стояли слёзы. Поклонилась Екатерине Михайловне:

— Простите, княгиня! Наши слёзки близкие. Со слезами молимся. Без слезы молитва сухая.

За обедом матушка угостила паломников пирогом, постным, но удивительным. Тесто пахло малиной, можжевеловыми ягодами, черёмухой. Чем-то ещё, многим, многим…

— Черникою! — узнавала Катенька. — Изюмом! Черевишней!

Матушка игуменья, соглашаясь, радостно кивала головою.

Вклад гости сделали совсем небольшой, но граф обещал прислать воз хлеба и пару свиней на прокорм лесным хищникам.

Из обители поехали смотреть, как мужики гонят дёготь.

— И вправду дорогой пахнет! — вспомнила Екатерина Михайловна слова матушки игуменьи.

Михаил Илларионович плечами пожал:

— Без дёгтя не езда, один скрип!

Возвращались в имение колеёю, идущей по краю поля.

— Какая красота! — изумилась Катенька василькам.

— Сколько сорняков! — сдвинул брови дедушка-помещик. — За такие семена приказчика пороть надобно.

Однако остановились. Катенька собрала цветы на венок, Екатерина Михайловна венок сплела.

— Похожа я на русалку? — спросила внучка дедушку. — Ну правда, похожа? Ну хоть столечко!

Она изобразила пальчиками щепоть.

— Русалка с хвостом, в воде! — не согласилась с дочерью Екатерина Михайловна.

— Граф! Граф! — искала поддержки Катенька. — Личиком-то! Личиком — похожа?

— Дружочек мой! Ты вылитая мавка! — определил Михаил Илларионович.

— А кто это?

— Лесная фея. По-здешнему — мавка.

— Я — мавка! Я — мавка! — весь вечер звенел по дому голосок Катеньки.

Утром они отбыли из Горошек, а через час после их отъезда в имение прикатил исправник.

— Война! Бонапарт прёт на Русь.

Первое, что сделал Михаил Илларионович: отправил игуменье Мастридии обещанное.

— Водичку-то и впрямь попил на дорогу.

Никто его не звал: ни в армию, ни в Петербург… Но генерал-то он действующий…

Исправник мало что мог сообщить. Наполеон перешёл Неман ночью 12 июня. 1-я Западная армия Барклая де Толли оставила Вильну. 2-я армия князя Багратиона отходит другой дорогой. Император Александр, слава Богу, при войсках.

Нашествию две недели, а государство живёт в неведеньи!

Уже в коляске Михаил Илларионович развернул карту. Путь к Дрисскому лагерю через Свенцияны. Александр, коли он при войсках, поведёт армию в сей капкан. Ответный удар можно было нанести и под Свенцянами, но сумеет ли Багратион подоспеть? Одной армией Наполеона не одолеешь.

И знал: двумя тоже не одолеешь. Победить гения войны в открытом бою возможно — надобен резерв, вдвое превосходящий армию победоносных маршалов. Доигрался Александр в великодушие, в показное миротворчество. Коли на переправе через Неман не побили Бонапартовых зверей, отступать придётся аж до Смоленска. До Смоленска ли?..

Не позволил себе развивать мысль. На другое направил. Петербург может сделаться лёгкой добычей. Защищай одними молитвами.

Испугался:

— Господи! Нынче же праздник Тихвинской иконы Богоматери. В суете проводов не помолился.

Странный хозяин Петербурга

Сквозь сон показалось, лошади постукивают копытами по каменной мостовой, постукивают радостно, ибо дороге конец, но звонкость подков гасят бережной осторожностью, храня покой ездока.

Михаил Илларионович улыбнулся, поднял веки — Нева. Французская набережная.

— Вернулся воин с войны.

Сон отлетел, утренней свежестью повеяло. И так ясно стало в мире, в голове, в сердце. Само собою спросилось:

— Или как раз пожаловал на войну?

Дом, пропуская хозяина в двери, даже и не подумал пробудиться.

— Графиня Екатерина Ильинична почивают! — доложил старец камердинер, произнося слово «графиня» с такою настойчивой важностью, будто ему могли возразить.

В графинях Екатерина Ильинична ходила девятый месяц.

— Коли спится, слава Богу. Подай, добрая душа, графу кофию с дороги, — распорядился Михаил Илларионович, валясь на диван, в благодать своего детства. Диван хранил запахи отцовского дома и самого отца, был единственно своим в этом доме.

Михаил Илларионович для петербургского житья не сгодился ещё в 1802 году, когда получил отставку с поста военного губернатора Санкт-Петербурга. Жизнь в Горошках, война с Наполеоном в Австрии, служба в Молдавской армии, губернаторства в Киеве, в Вильне, снова Молдавская армия, жизнь в Бухаресте... Старый диван один во всём доме и признавал генерала за хозяина.

Ласкал, покоил измученное дорожной тряской тело, навевал сон, освобождая голову от пустомыслия, от жестокой тревоги, навеянной неизвестностью. Беспрестанно думать о войне, не имея иных сведений, кроме слухов, всё равно, что самого себя поджаривать на вертеле.

Кофе принесла горничная Ариадна, любимица Екатерины Ильиничны, величавая, роскошная телом, но взятая в услужение за имя. Ариадна с греческого языка переводится как «строго сохраняющая супружескую верность». Поднос с закусками графу подал Аника-воин, старый солдат, заставший своего хозяина в румяной юности капитаном.

— Мы ведь с Риги вместе?

— Так точно, ваше высокопревосходительство. Покушайте индейки. Грецкими орехами кормлена.

— Гречанка, — согласился Михаил Илларионович. — Что праздновали?

— Со страху приготовлена. Госпожа говорит, как бы бережёное французу не досталось. Мы уж и сундуки приготовили.

— В какие края собираетесь?

— Покуда не решено. Императрица Мария Фёдоровна тоже на сундуках.

— Сплетни! Аника, ты — солдат, а веришь сплетням. Побойся Бога!

— Ваше высокопревосходительство! Моё дело исполнять, что приказано. Сами увидите: пусто на улицах. Нынче по Невскому один страх гуляет.

Михаил Илларионович большим глотком опустошил чашечку.

— Друг мой бесценный, скажи там моим, пусть мундир несут.

Через полчаса генерал от инфантерии, вчерашний главнокомандующий Молдавской армией, был при полном параде. Екатерина Ильинична всё ещё почивала.

Поехал к Вязмитинову. Государь, отправляясь к армии, назначил Сергея Кузьмича главнокомандующим Петербургом.

В чинах они одинаковых, а летами главнокомандующий моложе года на четыре, на пять. Воевал в Крыму, в уральских степях усмирял киргиз-кайсаков, был губернатором Оренбурга, служил комендантом Петропавловской крепости.

Кутузову Вязмитинов обрадовался:

— Слава Богу, что ты в столице! Вести из армии худые. Отступаем, а Петербург — я это обязан тебе сказать — совершенно беззащитен. Несколько батальонов, несколько эскадронов. Двор собирается в бега, вот только императрица Мария

Фёдоровна никак не выберет места, куда ей отправиться.

— Хотел бы просмотреть донесения из армий.

— Изволь!

Кутузов тяжко втиснулся в кресло. Листы донесений брал медленно, держал далеко от здорового глаза.

— Через Неман французы по трём мостам перешли? У Понемуня? Где же был Барклай? Какова численность нашей 1-й Западной?

— 127 тысяч при 558 орудиях. Армия во время нападения была чрезмерно растянута. От Россиен до Лиды.

— У Багратиона тысяч пятьдесят?

Вязмитинов, прежде чем ответить, покряхтывал.

— 39 500 человек и 180 пушек. У Тормасова 44 тысячи, пушек 168.

— А у Наполеона тысяча тысяч?

— С полмиллиона.

— Итак, оставили Ковно, корпус Дохтурова попал в окружение. Пробился к Багратиону. Вильна пала через четыре дня?! — И обрадовался. — Это уже кое-что: маршалы Наполеона умудрились потерять 1-ю армию! Барклаю низкий поклон. А зачем стояли в Дриссе? Семь мостов и ни одного, чтоб достроен?! Государь покинул армию? В Москве? Кульнев-то каков! Побил самого Себастьяна... В плен взят генерал Сен-Дени, три офицера, 139 солдат...

— В Петербурге нынче все знают Якова Петровича Кульнева. Командир гродненских гусар, генерал-майор. Других героев пока что не слышно.

— Воевать надобно мозгами. — Кутузов вернул Вязмитинову листы донесений. — Вижу, французы не чаяли от русских этакой прыти. По-заячьи скачем. Им ещё много чего придётся изведать от нашего брата.

Вязмитинов глядел на гостя и не мог понять: смеётся или одобряет заячью прыть двух армий.

Вечером чета Кутузовых появилась в театре. Давали «Дмитрия Донского». Екатерина Ильинична втайне рассчитывала показаться Петербургу с графом. Одолел турок, добыл столь нужный мир, и ведь перед нашествием!

Графине пришлось сидеть рядом с дочерью Прасковьей, с родственником, с тайным советником Александром Александровичем Бибиковым. Михаил Илларионович укрылся в глубине ложи. Без приветственных кликов обошлось...

Славно подремать в театре. О, Господи! Театр — пир глазам, смерть ушам. Кого только не увидишь, каких крылатых слов не услышишь! Каждая завитушка балконов и лож празднична, от иных актёрских реплик — грудь надвое, вот оно, моё сердце! Впрочем, обходится без крови, разве что слезами изойдут нежные души.

Бескровный храм славы Михаил Илларионович видел сквозь полумрак. Глаза его Катеньки сияют, будто драгоценные чёрные алмазы. Бюстом всё ещё хороша,

стан, как у девы на выданье. Не то что он, разъехавшийся, увенчанный подбородками.

Понимал желание Катеньки — пусть помрут от зависти все эти Волконские, Демидовы, Салтыковы со Строгановыми. Потерпи, потерпи, графинюшка, и дай сроку. Теперешняя овация Кутузову, да публичная, да в то самое время, когда царь, покинув бегущую от Наполеона армию, помчался в Москву — Россия, спасай Романовых! — будет воспринята как вызов, как неодобрение начальствующим над войсками.

Дмитрия Донского играл Яковлев. Всякое слово князя публика, прекрасно знавшая пьесу Озерова, ждала и принимала с восторгом.

— «Ах, лучше смерть в бою, чем мир принять бесчестный!» — говорил князь Дмитрий послу Мамая, и зал тотчас вскакивал на ноги, неистово приветствуя актёра, но скорее всего — нынешнее воинство, противостоящее Наполеону — исчадью ада, демону войны.

Зал трепетал, выслушав молитву князя Дмитрия, произнесённую Яковлевым в немотной тишине, голосом покойным и так просто, что слёзы блистали в глазах мужчин и женщин:

— Но первый сердца долг к
Тебе, Царю Царей!
Все царства держатся
десницею Твоей:
Прославь и утверди, и
возвеличь Россию.

Когда же Семёнова — Ксения — узнавши, что князь Дмитрий не убит, произнесла своё драгоценное: «Оживаю — и слёзы радости я первы проливаю», фрейлины, княгини и княжны, не говоря уже о подлой публике балконов, плакали, не сдерживая слёз.

Старейшего актёра Сахарова чуть было со сцены не сняли, готовые носить на руках за рассказ о победе над татарами:

— «Им степь широкая, как
узкая дорога, —
И русский в поле стал, хваля
и славя Бога!»

Михаил Илларионович с удовольствием смотрел из своего укрытия на публику. И вдруг произошёл скандал. В перерыве между актами вышедший на авансцену актёр объявил анонс завтрашнего спектакля. Французского.

Зал загудел, гуд тотчас стал грозным, и бедный актёр бежал за кулису. Негодование однако ж не унималось.

Михаил Илларионович под сей шум сбежал из театра. Был узнан в фойе кем-то из молодёжи. Крикнули: «Кутузов!» Крикнули: «Слава!» Но он уже катил по Петербургу, опустевшему, примолкшему. Уж на Невском-то проспекте, летом — всегда гулянье! Не гулялось стольному граду. Верно сказал Аника: страх в столице хозяйничает.

(Продолжение следует)